



Эрнст Роберт
КУРЦИУС

КРИТИЧЕСКИЕ
ЭССЕ
ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

Перевод с немецкого
Д. С. Колчигина



Издательский Дом ЯСК
Москва 2024

УДК 82.091
ББК 83.3(0)4
К 93

Курциус Эрнст Роберт

К 93 Критические эссе по европейской литературе / Пер. с нем. Д. С. Колчигина. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2024. — 416 с. — (Studia mediaevalia.)

ISBN 978-5-907498-56-3

Для русскоязычного читателя эта книга открывает Эрнста Роберта Курциуса с новой стороны: как критика и литературоведа. В ней собраны очерки более чем за два десятка лет, написанные в совершенно разные периоды (как эстетические, так и политические) и выстроенные здесь «сообразно эпохам и обстоятельствам». Эти тексты были впервые скомпонованы самим автором в 1950 году; книга существенно дополнилась в 1954-м, а после выдержала множество переизданий на языке оригинала. Работа Курциуса, будучи именно книгой, а не просто сборником, интересна своей композицией, отражающей эволюцию личных взглядов и научных предпочтений автора: она открывается изысканными, риторически украшенными размышлениями начала 30-х годов, а завершается узкоспециальным исследованием, написанным через четверть века — теперь уже лапидарным стилем позднего Курциуса. Полюса эти пребывают в удивительном равновесии, что Курциус и стремился показать своей книгой: «стадии» в его критической и филологической деятельности не знают разрывов и, при всем своем разнообразии, одинаково зависят от принципов всеевропейского единства, ставших для Курциуса главным тематическим ориентиром. Соответственно, «Критические эссе» вполне можно рассматривать как хрестоматию по генеалогии идей; особенно интересны в этом смысле парные статьи об одних и тех же авторах (об Элиоте, например, и об Ортеге), написанные с промежутком в несколько десятков лет. Что касается внутреннего содержания очерков, то здесь мы имеем дело с произведениями во многом уникальными: одна часть работ построена на неповторимом опыте личных знакомств с писателями (таковы эссе о Георге, о Дю Босе), другая часть отличается специфической отправных точек, позволяющих Курциусу подступать к неожиданным и выразительным обобщениям (таков ряд работ о мировоззрении Гёте). О некоторых авторах (особо здесь можно выделить Джойса) Курциус писал первым в Германии, так что отдельным его очеркам задана ответственная роль глобальных введений. Историческая ценность этих сведений, толкований и размышлений исключительно велика, и с годами она только возрастает. В литературоведческом плане «Критические эссе по европейской литературе», произведение одного из самых внимательных читателей XX века, и вовсе можно считать своего рода памятником, творческим и научным. На русском языке книга представлена впервые и в наиболее полном ее варианте, что позволит читателю всесторонне оценить этот самобытный труд немецкого ученого, ставшего «современником и толкователем» целого ряда выдающихся мастеров слова.

ISBN 978-5-907498-56-3



9 785907 498563 >

УДК 82.091
ББК 83.3(0)4

© Д. С. Колчигин (перевод на русский язык, научный аппарат), 2024
© Издательский Дом ЯСК, 2024

Максу Рихнеру посвящается

Содержание

Предисловие к первому изданию	9
Предисловие ко второму изданию	13
Вергилий	15
Рудольф Борхардт о Вергилии	27
Гёте как критик	33
Гёте и делопроизводство	57
Гёте — основы его мировоззрения	69
Фридрих Шлегель и Франция	84
Разговоры со Стефаном Георге	95
Памяти Гофмансталя	113
(а) Немецкая миссия Гофмансталя	113
(б) Гофмансталь и романская традиция	118
Георге, Гофмансталь и Кальдерон	123
Герман Гессе	143
Новая встреча с Бальзаком	158
Эмерсон	175

Унамуно	191
Шарль Дю Бос	207
Ортега-и-Гассет	234
I (1924)	234
II (1949)	249
Рамон Перес де Айала	262
Джеймс Джойс и его «Улисс»	269
Т. С. Элиот	294
I (1927)	294
II (1949)	307
Историческое учение Тойнби	333
Хорхе Гильен	355
Заметки о французском романе	362
Молодой Кокто	369
Уильям Гойен	378
Корабль аргонатов	385
Приложение	411
Предисловие к книге о латинском Средневековье и европейской литературе	411

Предисловие к первому изданию

Первые мои работы были посвящены французской литературе. О существе поэзии нас лучше всего научает Античность вместе с Испанией, Англией и Германией. Но о том, что такое литература, узнать можно только из Франции. В представленном томе, впрочем, о французской литературе сказано не так много. Свои книги и разрозненные статьи на эту тему я надеюсь вновь собрать в другом месте.

Для немца, особенно для такого, как я — рожденного и выросшего в Эльзасе, — Франция раньше была необходимой придачей. Существовало и некоторое напряжение, которое, опять же, острее всего ощущалось в Эльзасе. Свидетельство тому — поэзия Эрнста Штадлера и Рене Шикеле, моих эльзасских современников. В этом напряжении, помимо прочего, узнавалась сама Европа: отчетливее, чем в Берлине или Мюнхене. Сейчас в Страсбурге ведутся переговоры о создании Европейского союза, и для этого есть все исторические основания. Мне, опять-таки, было тесновато в немецко-французской Европе. Сначала я узнал Лондон, а уж затем Париж. Англия подарила мне то, чего я так и не нашел во Франции; спустя целые десятилетия ступил я и на земли Новой Англии, родины Эмерсона и Уитмена. Довольно скоро к Англии и Франции добавилась для меня Италия: ее виды и славная ее живопись оставили в моей душе неизгладимый след (из современной итальянской литературы я признаться, извлек не так много). Рим — это мать Запада. «Teutones in rase» [немцы упокоенные] — такой надписью увенчаны врата кладбища в Кампосанто у собора Святого Петра; слова эти я всегда понимал по-своему. Вскоре мои исследования (об их ходе подробнее рассказано в Приложении) и странствия привели меня в Испанию. Из Мадрида через всю Европу проходит линия до габсбургской Вены. На этой диагонали балансировал Гофмансталь, которого я всегда очень высоко чтил. Европа, в общем, делалась для меня всё шире и богаче. Все дети Европы (и в том числе — немцы в границах лимеса) отмечены, однако же, Римом. Римское наследие европейской литературы я постарался показать в «Европейской литературе и латинском Средневековье» (Bern: Francke, 1948; второе издание — 1954). Эта книга — вовсе не завершение «модернистской стадии» моих изысканий (как предположили некоторые критики), не отречение от моей любви к Франции. Я всегда думал лишь об одном: о европейском самосознании и западной традиции. С годами мне пришлось

копать глубже, искать дальше — и в пространстве, и во времени. Преемственность стала для меня важнее злободневности, Вергилий и Данте — важнее более новых писателей, появившихся после Гёте.

Ко всем темам, намеченным во вводном слове, я еще так или иначе вернусь.

* * *

Фрагменты по большей части выстроены хронологически, по авторам. Каждый очерк связан по-своему с задачами литературной критики. Стоит, однако же, помнить, что эти тексты писались на протяжении более четверти века. Взгляды и оценки самого критика за период столь продолжительный неизбежно менялись. Сент-Бёв в 1850 г., в предисловии к первому тому «*Causeries du Lundi*», писал:

Depuis vingt-cinq ans déjà que j'ai débuté dans la carrière, c'est la troisième forme que je suis amené à donner à mes impressions et à mes jugements littéraires, selon les âges et les milieux divers où j'ai passé.

[Минуло двадцать пять лет с тех пор, как я ступил на свое поприще, и сейчас мне приходится облекать свои впечатления и литературные суждения уже в третью форму, сообразно различным эпохам и обстоятельствам, через которые я проходил.]

В первый период (1824–1830) его критика была острой и агрессивной; во второй (1830–1848) она становится «*analytique, descriptive et curieuse*» [аналитической, описательной и пытливой]. Он сам добавляет, что у второй фазы был лишь один недостаток: «*elle ne concluait pas*» [она не подводила итогов]. В те годы Сент-Бёв избегал определенности в своих оценках; так, по крайней мере, сам он считал. К критической деятельности он вернулся в октябре 1849 г.; к тому времени были подавлены две революции — буржуазная и социалистическая. На плебисците 10 декабря 1848 г. президентом Республики, к смущению политиков, был избран Луи-Наполеон. Реакция победила Революцию и в скором времени вообще покончила с Республикой. Политический климат резко изменился, и из этого Сент-Бёв (а сам он осторожно описывает всю эту ситуацию как «опыт последних событий») сделал выводы относительно третьего этапа своей критики:

Les temps devenant plus rudes, l'orage et le bruit de la rue forçant chacun de grossir sa voix, et, en même temps, une expérience récente rendant plus vif à chaque esprit le sentiment du bien et du mal, j'ai cru qu'il y avait moyen d'oser plus, sans manquer aux convenances, et de dire enfin nettement ce qui me semblait la vérité sur les ouvrages et sur les auteurs.

[Времена настают суровые, а улица так ревет и грохочет, что приходится возвышать голос; вместе с этим опыт последних событий оживил в людском сознании само представление о добре и зле. Сейчас, как мне кажется, появилась возможность выступать смелее, не преступая при этом границ приличия; теперь, наконец, я могу без околичностей высказать о произведениях и об их авторах всю правду, какой она мне представляется.]

Стоит ли думать, что Сент-Бёв таким образом предлагал свои услуги авторитарному режиму? Или же он просто стремился подвести твердые основания под свой внутренний поворот к оценочной критике?

Свою собственную критическую деятельность 1919–1931 гг. я тоже мог бы охарактеризовать как *analytique, descriptive et curieuse*; двигало мною, впрочем, не ценительское любопытство, а скорее первооткрывательское воодушевление. Я писал об иностранцах. В Германии их не знали. Я должен был впервые представить их своим читателям. Описательность и аналитичность требовались обязательно. Без оценок, конечно, не обошлось: это проявилось в самом *подборе* авторов. Их не могло быть много, ведь привлекали меня только величайшие из живущих. Я никогда не работал критиком, никогда не уделял особого внимания курсовым колебаниям на литературном рынке; многих прославленных современников я считал дутыми величинами. И всё-таки, как я считаю, мне повезло: жизнь моя пришлась на великую эпоху в европейской литературе. Быть современником и толкователем таких авторов, как Жид, Клодель, Пеги, Пруст, Валери, Гофмансталь, Ортега, Джойс, Элиот (называю лишь некоторых!), — это, как по мне, большое счастье, которое вряд ли выпадет во второй раз; пока, во всяком случае, ничего подобного на горизонте нет. Двадцатилетия 1910–1930 и 1930–1950 (если, конечно, рассматривать их максимально целостно) по своей культурной ценности несопоставимы. «И видел фараон, как вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных». Я знаю, конечно — мои студенты настойчиво мне это внушают, — что и сегодня в тростнике пасется немало тучных коров. Потому я остаюсь начеку и ни от чего не зарекаюсь.

Но в шестьдесят лет у человека уже не те перспективы, интересы, радости и потребности, что были у него в сорок. Акценты смещаются. Вблизи видишь хуже, а вдали — отчетливее. Привыкаешь смотреть за пределы современности, на горные вершины, смыкающие горизонт. Всё то, что творилось до 1939 г., сегодня уже отходит в историческое отдаление. Но в это прошлое я заглядываю с радостью. Как видно по представленной книге, к одному и тому же автору (к Ортеге, например, или к Элиоту) я иногда возвращаюсь по прошествии более чем двадцати лет. Такие статьи, разделенные десятилетиями, по тональности

между собой разнятся. Поздние тексты — более отстраненные. Иначе, наверное, и быть не могло? То, что Сент-Бёв почтал за «ошибку» своей ранней критики — «elle ne conclut pas», — это в действительности безусловное право молодости; на поздних этапах, с другой стороны, критик всё взвешивает и отмеряет: это и долг, и прерогатива. Надеюсь, что читателю будет небезынтересно взглянуть на подобные метаморфозы критика.

* * *

В этой книге можно найти «и то старое, что верно блюдетя, и то новое, что любезно принимается»¹. О Вергилии я бы вряд ли вообще написал, не подтолкну меня к этому Макс Рихнер. Под его руководством газета «Neue Schweizer Rundschau» стала одной из пяти или шести лучших в Европе (статья об Элиоте 1927 г. тоже впервые была опубликована именно там). Сегодня о Вергилии я сказал бы уже не так, как в 1930-м. Но эта статья вызвала одобрение специалистов, потому я сохраняю ее — как посвящение величайшему латинскому автору. Рассматривать нужно как античное, так и современное: эта мысль была самоочевидной для Лессинга и Шлегелей, для Сент-Бёва и Патера; сегодня она столь же самоочевидна для Рудольфа Александра Шрёдера. Тем критикам, что отказываются от этой прерогативы, можно напомнить слова Сейнтсбери: «Ancient without Modern is a stumbling-block, Modern without Ancient is foolishness utter and irremediable» [Древнее без современного — это препятствие на пути, современное без древнего — это глупость, крайняя и неисправимая].

В последней статье я постарался доказать, на мифологическом примере, факт преемственности в европейской литературной традиции. Этот текст примыкает к моим медиевистическим изысканиям. Критика и история литературы — это два разных явления, которые, впрочем, неплохо уживаются под одной крышей. Они заметно обогащают друг друга. Без упражнений в критике я бы не смог написать своей книги о Средневековье; упражнения в истории, со своей стороны, пошли, как я надеюсь, на пользу моей критической деятельности.

Бонн, Пасха 1950 г.

¹ [Ältestes bewahrt mit Treue,
freundlich aufgefaßtes Neue.]

Предисловие ко второму изданию

Новое издание значительно дополнено. Добавлено, во-первых, несколько работ, с 1933 г. подзабытых (например, «Джеймс Джойс и его “Улисс”»); во-вторых, в сборник включен целый ряд сочинений последних лет — сюда относятся работы о Борхардте, Шарле Дю Босе, Хорхе Гильене и о молодом американце Уильяме Гойене.

Бонн, Троица 1954 г.

Вергилий

Hac casti maneant in religione nepotes.

[Пусть соблюдают этот обычай благочестивые потомки.]

Вергилий и первый император покоятся где-то под камнями и цементом многолюдных итальянских городов, исполненных шумом сегодняшней повседневности. О Вергилии в анналах истории сведений сохранилось достаточно — вплоть до даты его рождения. Вскоре мы отметим этот праздник в двухтысячный раз, что само по себе повергает в восторженный, почтительный трепет всякого, кто близок Риму. Это не сухое припоминание в ученой среде, а живой день памяти, проникнутый искренним почтением.

Наше торопливое поколение ищет актуальности в ускоряющемся времени, и часто кажется, что прошлое уже потеряно. Пространство перед нами открыто — мы забредаем в самые отдаленные его дебри, но за это рассчитываемся временем: в нашем сознании оно то сжимается до чего-то мелкого и низменного, то безмерно расширяется до чего-то химерического и беспредметного. На размышления нас подвигают годовщины, обращающиеся в ритме тысячелетий: шестьсот лет со смерти Данте, полторы тысячи лет со смерти Августина, две тысячи лет со дня рождения Вергилия. Тысячелетние даты отмечены особым смыслом и особой ценностью: в свете предстоящего столетия смерти Гёте это тем очевиднее.

Юбилей Вергилия не особенно популярен и потому вдвойне важен. Эта дата, если верно с ней соотносится, может стать подлинной вехой в великом и таинственном процессе западного самопознания, в неясном свершении того дела, которое само по себе заслуживает осмысления (даже если оно останется мечтой просвещенных умов, неким невысказанным словом наших лучших мыслителей), — дела интеграции, реставрации западного мира. Именно это являлось Гофмансталю, умевшему предвосхищать и мыслить долгосрочно.

Вот в каком контексте можно рассматривать вергилианское празднество, вот какими резонансами оно отзывается или, по крайней мере, может отозваться: одного этого достаточно, чтобы понять, о каком исключительном поэте идет речь. И исключительность эта проявляется просто повсюду! Нам никогда в полной мере не выяснить, что четвертая эклога значила для самого автора: в ней

есть та же потаенная невыразимость, какой пронизана восточная мистико-эротическая поэма, попавшая в наше Священное Писание под именем «Песни песней». Но в каком-то смысле мы всё еще проживаем средневековую легенду, всё еще верим в некую синхронию между богочеловеческим откровением и поэзией имперского Рима, в европейскую мистерию, сокрытую и вновь обретенную. Ручательство Данте в этом вопросе стало уже почти священным. Вергилий и Данте (то есть, с одной стороны, великий римско-имперский язычник, *paganus*, певец пастухов и пашен, а с другой — великий римско-католический христианин, странник нездешних троп и дольного мира законодатель) сочлись между собой нерасторжимым союзом — и в этом есть одно из счастливейших знамений нашей истории.

Никогда не понять Вергилия тому, кто, сознательно или нет, держится устарелой доктрины об оригинальном гении. Величие и значительность Вергилия, его особая миссия, никем за века не воспринятая, — всё это зиждется не на самой личности поэта или, по крайней мере, не только на ней; чтобы вполне понять эту сторону, нужно для начала знать, чем Кайрос может наделить отдельного человека. Само то, что через тринадцать столетий кто-то вроде Данте сумел воспринять Вергилия и возвысить его фигуру, — это уже один из определяющих элементов величия собственно вергилианского: флорентиец эпохи Треченто сумел ответить на слово Вергилия именно так, как завещал позднейший поэт времен гибели земного Рима¹. Дабы оценить этот факт, нужно отринуть все теперешние мерки и привыкнуть к тому, чтобы сосчитывать время длительными отрезками. Подобное для нас уже непривычно. Но, может быть, потому этот подход и обернется чем-то плодотворным? Что выстояло две тысячи лет, то и в грядущие тысячелетия выстоит. В этом уж точно сомнений нет; так почему бы не соотнести наши перспективы с несомненным?

В ранние времена *exempla maiorum* [примеры предков] служили подтверждением общепринятого; для нас они уже стали внешним принуждением — традиция сделалась исправительной системой. Мы дошли до той степени отчуждения, когда всё традиционное уже представляется чем-то новым. Наверное, такие времена — это утренний полумрак перед очередным возрождением. Немецкая современность отрезана от Вергилия, но в этом можно увидеть залог и приуготовление. В нашем кругу, по-моему, пробуждается какое-то новое, особенно глубокое понимание романского начала — а кто явил это начало заметнее, полнее, мощнее и изящнее, звонче и сладкозвучнее Вергилия? Он был ярчайшим поэтом-государственником: именно ему выпало творчески обосновать вечность Рима от самых первоначал — в те же годы, когда Август, с учреждением принципата, вознес страну к вершинам державного могущества. Здесь,

¹ Фока (жил около 500 г.): «O vetustatis veneranda custos...» [О хранитель почтенной древности...].